

В. П. Васильев

Конфуцианство

[19.25]

Конфуцианство тем отлично от других религий, даже от восточных, что те, в сравнении с ним, все же имеют некоторое сходство с западными, так что невольно рождается вопрос: религия ли это?

Этот вопрос мы лучше всего решим из рассмотрения происхождения конфуцианства, или, лучше сказать, всякий может решить по-своему, потому что у всякого может быть своё понятие о религии.

Если религия, говоря вообще, старается почерпнуть и свои силы, и своё оправдание в древности, то тем более конфуцианство, претендующее на своё происхождение одновременно с началом китайской нации, почитаемой самою древнейшею в мире, есть религия по преимуществу. Древность играет такую же важную роль в человеческом сердце, как и самая религия, даже служит ее основанием. При всем нашем новейшем превосходстве над древним миром, мы все еще ищем тайн в глубокой древности, не только для объяснения истории человечества, но даже в области физической природы, — кажется, что эта археологическая привязанность и служит причиной антагонии между наукой и религией.

Конфуцианство самостоятельно дошло до мысли, что только то хорошо, что сохраняет на себе тип древности; только в древнее время были хорошие образцы, совершенные люди. Не считая ещё их ни богами, ни святыми, конфуцианство выставляет в пример нравственности и самого лучшего управления таких государей, каковы были Яо, Шунь, Вань: Тан, Вэнь и У; при этих царях все было хорошо устроено; они правили спустя рукава; каждое их изречение, даже простое восклицание, есть комментарии на всю жизнь, закон для будущих веков.

Понятно, что такой взгляд весьма плохо может гармонировать с прогрессом, но очень хорошо поддерживает неподвижность; кажущееся развитие будет не более как разработка однажды принятых начал, и всякий умственный труд в этой рамке будет ещё больше лишать ум свободы; то, что в известное время, при известном умственном уровне общества, казалось высокою интеллигенцией, со временем набрасывает на это общество покров мрака и невежества. Религии Востока, как ни широк был их первоначальный район, не дали человечеству той свободы, которую дала на Западе Библия; кроме единобожия, в учении о Мессии заключалась другая великая идея — допущение обновления принципов, следовательно, даже перемена их. Религии Запада, говоря сердцу, не охватывали вопросов, касающихся науки, просвещения: поэтому последнее и могло развиваться; религии Востока вышли из школы, были сначала простым учением, и потому, на какой степени стояла наука в то время, когда она превращалась в религию, на той степени она и должна была остановиться.

Мы здесь не можем подробно распространяться о древности китайского народа; хотя нам, собственно говоря, эта древность китайцев безразлична, но все же многим, привыкшим к вере на слово в первые рассказы, станет жалко убедиться, что эта древность имеет в себе столько же исторического за 1000 лет до Р. Х., сколько исторического, для этой же эпохи, представляет и Греция. Замечательно, что везде — чем народ позже составлял свою историю, тем к большей древности он возносит ее начало. Китайцы времен Геродота ещё знали только своего Девкалиона — Яо (за 2357 лет); позже, во втором веке до Р. Х., Сыма-цян уже вводит Хуанди (за 2697 лет), позднее является Фу-си (за 2952 лет); наконец, ещё позже древность считается уже миллионами; индийцы — те так знают даже прежние периоды мироздания.

Но откуда почерпнули свои исторические сведения китайцы? Какие остались памятники их древности, какие книги свидетельствуют о ней? Во-первых, заметим, что письменность настоящая, а не воображаемая изобретена была только за восемь веков до нашей эры, то есть несколько не раньше того времени, как она, за исключением загадочных надписей египтян, является и на Западе. Спрашивается, каким образом могли сохраниться рассказы о том, что было в продолжение почти двух тысяч лет до изобретения письма. Предания? Но мы знаем, что предания и у новейших народов, когда им даже можно справиться у других соседей, представляются в смешении. Много ли нынешние монголы знают о Чингисхане? Знает ли русский народ о том, что было до Петра, да, пожалуй, и при нём?

Является письменность,— является и настоящая история. Чунь-цю, Весна и Осень, вот первая действительная летопись Китая, в которой события обозначаются шаг за шагом, а она начинается только с 723 года до Р. Х. Вглядитесь в язык этой летописи — это язык сжатый, необработанный, едва понятный, едва отступающий от знаков, которыми хотели обозначить события, когда вбивали гвозди в Капитолии. Это самое доказывает, что начало летописи недалеко отошло от времени изобретения письменности. Надобно знать свойства китайской письменности, её трудность для выражения понятий, самую медленность процесса письма или выковыривания букв ножом на бамбуковых дощечках, чтобы понять, что Чунь-цю, в самом деле, принадлежит древности. От этой сжатости, неточности или набрасывания кое-как мыслей недалеко отступает и самый язык писателей, живших уже после Конфуция; следовательно, китайской письменности трудно было сформироваться.

Что же мы узнаем из этой первой исторической летописи? То, что ядро китайской нации, или — так как трудно даже определить, что такое тогда была собственно китайская нация — та власть, которая подчинила себе часть будущей китайской нации, зародилась, может быть, действительно, на запад от юго-восточного изгиба Хуан-хэ, но вскоре перенесла эту власть восточнее, как мы застаем её уже в исторические времена; государи этой китайской нации воинственны, они распространяют свою власть во все четыре стороны, потому что всюду встречают народы, живущие без всякой связи, сами по себе. Но и гораздо позже этого мы узнаем из этой же самой истории, что всё-таки владения китайские были вовсе не так обширны, как представляется нынешний Китай и как хотят представить Древний Китай толкователи и фабрикатеры преданий; на востоке эти владения далеко не доходили до моря, на севере не касались даже нынешней столицы Китая, Пекина, на юге — об знаменитом Ян-цзыцзяне, на котором стоят известные ныне Нань-кин и Хань-коу, не было еще и помину; запад всего более представляет отпор; оказывается, что китайской власти принадлежали только несколько окрестностей изгиба Хуан-хэ, и власть эта, благоприятствуемая течением Хуан-хэ, всего грознее надвигалась на восток, как бы и в то

время уже доказывая, что запад сильнее востока. Нет сомнения, что во всем нынешнем Китае и за границами его все уже было занято, заселено, может быть, я враждовало между собою; можно даже допустить, что не все принадлежало одному племени, но в этом огромном пространстве первый почин исторического объединения принадлежит той династии, которую мы застаем в Китае при начале ее летописи.

Скажут, что, кроме этой летописи, китайцы имеют еще другую историю: Шу-цзин, которая начинается именно с того Яо, который жил за 2357 лет до Р. Х. Она говорит, что после Яо и его преемника Шуня до настоящей династии были еще две другие, не менее знаменитые.

Тот же Конфуций, сочинивший, или, лучше сказать, списавший летопись Весна и Осень, составлял и этот Шу-цзин, — он мог иметь исторические данные. Но прежде всего что такое Шу-цзин?

Китайцы сознаются, что эта книга была истреблена при Цинь-ши Хуанди; потом, когда стали её отыскивать, нашли 80-летнего старика Фушена, который знал, выучил эту книгу наизусть в молодости, когда ещё не было на неё гонения. Но они же говорят, что старик бормотал так, что его понимала только его восьмилетняя внучка. Она-то, эта безграмотная, конечно, девочка, служила переводчицей между своим дедушкой и посланным к нему учёным, который происходил совсем из другой провинции, в которой была другая речь и, конечно, другая письменность, так как уже после того, как Фушен выучил Шу-цзин, Ли-сы, министр истребителя книг (но, собственно говоря, не более как Шу-цзина), составил общую письменность для всей объединенной тогда империи.

Желали бы мы знать, каким образом можно списать со слов книгу, язык которой так сжат и тёмн, когда и ныне китаец не может понять ни одной письменной книги, не имея её перед своими глазами. Каким образом со слов Фушена могли написать правильно собственные имена? Какая горькая ирония слышится против всей древности в этом рассказе.

Так вот почему мы плохо и знаем, — как бы хотят сказать китайцы, — свою древнюю историю; но мы все же хотим её знать, во что бы то ни стало, от кого бы то ни было, и знать так, как нам хочется. Впоследствии, спохватившись, что книги со слов списать было нельзя, китайцы отыскивали в стене собственного Конфуциева дома письменный Шу-цзин, спрятанный им самим ещё при своей жизни; книга была будто написана особенным, не известным дотоле почерком, который, если бы существовал действительно, должен был бы сохраниться в других книгах и не мог бы никому быть до того времени не известным.

Прежде всего является вопрос: почему не дошло списков с этого памятника? Китайцы уже и тогда занимались археологией; притом, на что похож рассказ, что в неизвестном почерке (его называют головастиковым) сумели разобрать только те главы, которые были списаны со слов Фушена, и убедились в их сходстве? Ведь если столько глав было уже прочитано, то те же иероглифы встретились бы, за немногим разве исключением, и в остальных. И всему этому верят добродушные китайцы, равно как верят тому, что Конфуций мог предвидеть гонение и спрятал в стену дома сочиненную им книгу и что этот дом простоял несокрушимо несколько столетий, тогда как в Китае, от тамошнего климата, всё так быстро разрушается. Чунь-цю не пропала, а Шу-цзин погиб: как могло это случиться, если бы действительно существовала такая древняя история Китая?

Сам рассказ о сожжении книг не был ли выдумкою последующих конфуцианцев, которые стыдились древних своих мараний, как устыдились Цзя-юй (домашние изречения Конфуция) и подменили его Лунь-юй'ем (афоризмы Конфуция); конфуцианцы были

недовольны Цинь-ши Хуанди за то, что он не им поручил правление; следующая династия охотно распускала и допускала клеветы на того, у преемников которого она отняла престол. И все последующие династии также всегда старались унижить предшествовавшие им царствования. Династия Мин не поцеремонилась скрыть от своих подданных, как обширны были владения преемников Чингисхана, которых она сменила. Что же мудреного, что Цинь-ши Хуанди приобрёл печальную известность, которой вовсе не заслуживал, благодаря только изворотливости конфуцианцев?

Но допустим, что дошедший до нас Шу-цзин был действительно написан Конфуцием. Что же из этого следует? Во-первых, в нём нет последовательной, верной хронологии; во-вторых, его язык вовсе не носит следов отдаленной древности. Правда, он труден, но он более округлен, чем Чунь-цю; в то же время однообразен для всех тысячелетий, тогда как китайцы, несмотря даже на первую фразу книги об Яо: "Если говорить о древнем государе Яо"... хотят уверить нас, что главы Шу-цзина были писаны при тех государях, о которых они трактуют, так как при самом Яо были уже историографы, которые обязаны были записывать все изречения и действия своего государя.

Но положим, что так как Шу-цзин был обделываем Конфуцием, то он и мог получить однообразную форму языка, — оттого он и имеет более сходства с афоризмами философа, собственным его учением, чем с летописью Чунь-цю. Но посмотрим содержание Шу-цзина. Позднейшая летопись Чунь-цю кое-как отмечает события, а древняя история о событиях говорит мало, а содержит в себе изречения древних государей, их разглагольствования с министрами, их жалобы, клятвы, сентенции; в одном месте (Хун-фань) чуть не излагается метафизика и этика. Возможно ли допустить, чтобы древняя история была полнее новой?

В каком виде представляется Китай по Шу-цзину? Прежние династии захватывают его весь почти в нынешнем виде; в нём, при них, то девять, то двенадцать провинций, которые, несмотря на подчинение правителям, в то же время принадлежат десяти тысячам владетельных князей. Шунь и Юй, ближайšie преемники Яо, уже далеко перешагнули на юг от Ян-цзыцзян'а. Вышеупомянутый Хуанди, с которого начинается историю Сы-ма-цянь, хотя и живет прежде Яо, но действует не иначе как в окрестностях нынешнего Пекина, а эти окрестности, в поздние исторические времена, еще были в руках Жунов и Ди, не признававших власти Китая.

Однако же, на каком же основании, скажут, составилаь такая история? Мы думаем, что разгадки надобно искать в той же достоверной истории династии Чжоу. Воинственная династия, расширив свои владения, должна была и защищать их. Она поставила на своих границах маркграфов — Хоу, которые, с уполномочия или без уполномочия своих государей, стали расширять свои уделы и расширили их до такой степени, что стали сильнее самих своих государей. Соблюдая ещё внешнюю покорность, они старались приобретать влияние при дворе, и это давало другим повод к соперничеству.

Между тем власть государя все более и более падала. Маркграфы, превратившиеся в князей, однако, не были настолько сильны, чтобы соединить все владения Чжоу под одну власть; им угрожали и инородцы, которых они хотели покорить. Так, на первых ещё страницах летописи, северные варвары разрушили даже один сильный удел, лежавший на северо-востоке от Хуан-хэ, тогда протекавшей в Чжилийский залив. На юге инородцы составили даже, по образцу китайскому, сильное владение, которое хотело захватить влияние над китайским двором.

Князя, с одной стороны, чтобы защититься от варваров, с другой — чтобы не быть притесненными собственными государями, стали составлять сеймы, на которых издано было много замечательных постановлений. Власть над сеймами часто долго удерживалась в одном уделе, а потом, по мере его ослабления, переходила в другой.

Прежде было много уделов; теперь число их сокращалось все более и более, и наконец когда остались сильные уделы, то система сеймов кончилась. Всякое владение стремилось не только к самостоятельности, но и хотело поработить другие. Что же мудреного, что при этом стремлении всякий захотел вывести свою родословную как можно выше, хотя, по приводимым у Сыма-цяня родословным, число колен почти все одно и то же — что от современников Хуанди, что от Яо или от Чэн-тана (1783 года).

Итак, каждое владение хотело право силы подкрепить еще правом происхождения. Вы происходите от Чжоу,— мог сказать удел Вэй или Сун другим князьям,— а мы от предшествовавшей вам династии Инь.— А мы от династии Юй, в наших пределах жил сам Яо, стал распускать легенды удел Цзинь.— В наших царствовал сам Хуанди, утверждал Янь. Кроме того, один и тот же факт исторический мог передаваться различно в различных царствах и относиться к различным эпохам. Так, например, и Яо, и Тан, живший после него спустя более 500 лет, основатель династии Шан, называются одним именем (хотя иероглифы и не похожи). Так, мы выше сказали, что первый зародыш Чжоуской династии полагается на запад от юго-восточного изгиба Хуан-хэ. За 780 лет до Р. Х. там царствовал будто Ю-ван — государь злой, мучивший честных вельмож и князей, преданный своей любовнице, от которого и пала западная Чжоу. То же мы видим в истории двух предшествовавших династий, и они точно так же падают при злых государях-мучителях, подпавших под власть женщин; даже имена последних государей династий Ся и Шан смешиваются, и имена женщин также созвучны.

Конечно, от Конфуция нельзя и требовать, чтобы он мог разобрать эту путаницу. Он мог встретить составившиеся уже до него рассказы и увлечься ими; или, слыша разнообразные рассказы, подумал, что надо принять различные династии, различных государей. Сверх того, это как нельзя более входило в его планы. Как историк и древний, он ещё более нынешних хотел вознестись в древность; как философа, его не могла удовлетворить пошлая действительная история летописи, не представлявшая ни одного великого образца, наполненная братоубийственной войною, постоянными интригами, самыми бессовестными коварствами; подлыми изменами. Только в уста великих монархов древности мог он вложить высокие идеи нравственности. Вот что значат диалоги Шу-цзина. Это последнее значение его не изменяется, если мы почтём его составленным ещё позднее, потому что когда его стали отыскивать, по истреблении Цинь-ши Хуандием, то ведь ученые имели в виду угодить оказавшей им покровительство Ханьской династии старанием утвердить ее власть; и вот Шу-цзин, с одной стороны, укрепляет монархическую власть, а с другой — внушает ей уважение к представителям своих идей.

Допуская последнее, легко можно уже допустить, каким образом в Шу-цзин попали рассказы об Яо и Шуне, напоминающие имена Ноя и Сима, сказания о потопе, о трех династиях в pendant (*соответствии (фр)*. — *Примеч. Ред.*) трём царствам — Ассирийскому, Вавилонскому и Сирийскому.

Что конфуцианские книги обдeldывались и додeldывались, даже после открытия западных стран, мы имеем на это многочисленные намеки. Но верить ли непременно, что Китаю стал известен Запад только со времен У-ди (140—86)? Тут опять не династическая ли проделка? Притом, официально многое и не в Китае узнается гораздо позже, чем знают частные лица; довольно указать, что в Китае книгопечатание было известно с VI века, а правительство стало пользоваться им только в X столетии; что магометанство существовало в Китае прежде Чингисханидов, а китайская история и не думает о нём упоминать по настоящее время. Если китайские товары проникли на Запад прежде официальных сношений с ним китайского двора, то почему же и идеи и легенды Запада, которому мы придаем такую энергичную силу, не могли проникнуть на Восток, хотя в обмен на эти товары? Есть одно обстоятельство, которое подтверждает нашу догадку, — индейцы называют Китай Чина или Чжина (откуда *Shine*, Хина); но это было название династии (Цинь), царствовавшей в Китае за сто с лишком лет до открытия Запада.

Конфуций родился в самое горячее время китайской жизни. Легко можно сравнить это время,— разумеется, принимая в расчёт нынешнее развитие человечества (но не пространство, так как китайская нация тогда уже далеко раздвинула свои границы, благодаря своим маркграфам),— с веками, которые проживает теперь Европа. Не назовет ли впоследствии история и эти века эрою междоусобия, братоистребительных войн? Но мы знаем, что наше время беспорядков служит лучшим стимулом развития. Когда родился Конфуций, сеймовая система кончилась; всякое царство действовало самостоятельно, и каждое стремилось к преобладанию, потому что сеймовая система, положившая начало китайскому образованию, оставила в наследство всем царствам сознание о необходимости единства. Но каждое царство сознавало свою слабость для осуществления этой цели, и каждое чувствовало необходимость призвать на помощь ум, изобретательность.

Явились великие тактики, но ещё более великие дипломаты; трехдюймовый язычок, говорили тогдашние Бисмарки, стоит стотысячной армии. Дипломаты переходили с места на место, часто прикидывались, как Бейтс, врагами того царства, в пользу которого они хотели действовать; составляли союзы, которые, по здравому смыслу, казались невозможными; усыпляли тех, чей голос и сила могли заразить столкновение. Вслед за тактиками и дипломатами появились так называемые философы: одни учили, что надобно ввести строгий порядок, устроить государство на правильных гражданских и уголовных законах; другие прибегали к планам экономическим, к средствам обогатить государство, потому что и тогда сознавали, что без денег нельзя вести войны; толковали о том, как возвысить земледелие и промышленность.

Известно свойство древней истории: она всегда говорит о государях, о знаменитых мужах, готова говорить о жизни известного бунтовщика или разбойника, но никогда не касается жизни народной. Однако кто же, как не народ, участвовал во всех этих непрерывных бранях, чья кровь лилась, как не его, чьи средства должны были содержать эти многочисленные армии? До нас дошел, в песнях, народный ропот об этих беспрестанных походах (*), об этих тяжелых работах на укреплениях.

** Жалкие наши воины! Только вы разве не люди!*

Вы не туры и не тигры. Зачем же вам шляться по пустыням?

Жалкие наши воины! Зачем же и утром, и вечером нет вам покоя?

Длиннохвостая лисица бежит по густой траве,

Военные колесницы тянутся по большой дороге!

Но народных сил всё же хватало, кроме того, на постройку великолепных дворцов для князей и вельмож, на украшение их экипажей драгоценными камнями, на приготовление для этих же вельмож затканых золотом материй, на изготовление лукулловских обедов и попок. Сквозь изнурение нельзя не видеть, что нужда рождает изобретательность, что, поверх дипломатических ухищрений, явились в народе ухищрения к развитию средств, к такому же налеганию на природу, с каким на самый народ налегало правительство. Мы думаем, что эти смуты, междоусобицы и пробудили в китайцах их гений, их трудолюбие, что тогда-то именно и развились искусство и промышленность. Эта напряженная энергия китайского духа была так сильна, что не погасла после того и в продолжение тысячелетий.

Говорят, что конфуцианство сохранило и сохраняет китайскую нацию до нынешнего времени. Нет, конфуцианство было само произведением того времени, в которое оно явилось. Китай соединился, умолкли войны, и он прекратил свое дальнейшее развитие: он зажил тою жизнью, которую влачат замкнутые в себе государства, внес в эту жизнь и лучшие достоинства, и нажитые недостатки; регулятором этой новой жизни и явилось конфуцианство, выработанное опытами предшествовавшей жизни.

Конфуций тоже был своего рода странствующий искатель приключений; он тоже искал службы то в том, то в другом царстве, даже помимо своего родного; и конечно, если не он думал высоко сам о себе, то его ученики стараются уверить, что если б он упрочился в каком-нибудь царстве, то оно несомненно и стало бы во главе единства.

По Лунь-юй'ю, Конфуций обещает изменить государственный строй того царства, которое поручат его управлению — то в одно поколение, то в три года, то даже в один год, во сто дней, в месяц.

Конфуций сначала был мелким акцизным чиновником, смотрел за весами, за откармливанием скота. Впоследствии будто бы когда он сделался министром на своей родине, то стал так её устраивать, что испугавшийся соседний князь, имевший виды на Лу, прислал к князю этого последнего владения женскую музыку; музыка была так соблазнительна, что князь, как ни настаивал Конфуций, не хотел с нею расстаться, и Конфуций вышел в отставку, как какой-нибудь английский министр.

Даже и не допуская этого рассказа, можно предположить, что Конфуций был большой педант, старавшийся всем навязывать свои идеи о науке и нравственных началах, как единственную панацею против тогдашних столкновений. Но его отталкивали, как бесполезного для того времени; и действительно, не посредством конфуцианства Китай пришёл к объединению, а силой оружия. Сила конфуцианства только зарождалась; ей ещё надобно было укрепиться. Конфуций, отверженный правительствами, стал их врагом и перешёл на сторону народа; он был первый народный учитель.

Какие же зародыши положил Конфуций в основу своего учения? Науку (в виде истории), народность (в форме стихотворений), нравственность (основанную на выводах из истории и поэзии, переданную его учениками в сборнике, известном под именем Лицзи — собрание церемоний, и в книге Сяо-цзин — о почтительности к родителям). Так, по крайней мере, можно допустить, хотя вначале при нём все эти вопросы могли быть ещё только в зародыше.

Мы выше говорили уже, что через руки Конфуция прошли два исторических сочинения — Шу-цзин и Чунь-цю. Последняя летопись принадлежала его царству, но говорят, он её переделал; очень сомнительно даже, налагал ли на эту летопись свою руку Конфуций, так как в ней сохраняется именно характер летописи, писанной сжатым языком, а необходимые к нему комментарии написаны рукою современника Конфу-циева, Цзо-цюмина. Но допуская это, мы видим, что Конфуций ввёл нравственную оценку историческим фактам, употребляя известные слова: например, об одном он говорит — *околел*, о другом — *скончался*, о третьем — *умер**; различает слова — *убежал*, *удалился*, *был прогнан*; одного называет в унижение по имени, другого чествует его титулом. Вот в чём состоит исторический фокус Конфуция, и, однако ж, этот исторический язык положен в основу всех последующих историй. И этот язык страшен для китайцев, как посмертный суд.

(* Этот приём — типичная практика Авесты: во всех зороастрийских насках, фрагментах, яштах... для Ахура-Мазды, его творений и дел используются термины восхваления, но для Ахримана (Изначалья Зла) и его порождений — только уничижительные клички и термины. — АГ)

Другую книгу, книгу стихотворений Ши-цзин — равно как и Шу-цзин — Конфуций добыл будто бы при Чжоуском дворе. Но каким образом все главы Шу-цзина могли храниться при Чжоуском дворе, когда в них попадают и происшествия, принадлежащие новым временам, когда двор Чжоу не имел уже силы, и происшествия относятся к уделам?

О Ши-цзине рассказывают ещё большие чудеса. Говорят, что удельные князья, в своё время, должны были представлять ко двору, вместо дани, стихотворения или песни, появившиеся в их уделе, для того чтобы двор мог судить о состоянии нравственности и поэтому, следовательно, даже о достойном управлении самого князя. Китайцы никогда и не думали сомневаться в этом рассказе. Но не слишком ли это уже мудрено для династии, которая всё время должна была стоять с оружием в руках?

Пожалуй, китайцы готовы также верить, что и в древние времена государи заботились об устройстве школ; школа-то действительно была, да только военная: манежи, плац-парады, экзерциргаузы. И как это удельные князья станут присылать дурные песни, чтобы свидетельствовать против себя: в таком случае весь Ши-цзин только и свидетельствовал бы что о высокой мудрости правителей!

Конфуцианцы говорят, что Ши-цзин не надобно было восстанавливать по истреблению книг, так как он жил в устах народных. Это ещё труднее допустить, чем приведение в письменный вид Шу-цзина со слов Фушена. Народный язык и ныне не имеет определенных иероглифов для своего выражения; провинции и тогда уже различались наречиями. О Ши-цзине можно сказать многое. Самая главная часть его — песни, несомненно, носит отпечаток народности; это естественное произведение жизненных отражений всякой нации. В китайских песнях мы видим много общечеловеческого: так и кажется, что присутствуешь на родных вечеринках, посиделках; то воспевают жениха, невесту, иногда над ними подсмеиваются; то красавица тоскует по милому, то учит его, как приходиться к себе, то горюет об измене; то рабочий проклинает тяжести труда, воин — трудности похода. Нет сомнения, что во многих есть и исторические намеки. Но китайский комментатор портит все дело: он задался мыслью видеть в этих стихах историю и нравственность; он всё гнёт в свою сторону, он не только произвольно толкует слова, не стесняясь даже тем, что в другом месте эти же слова объясняет иначе,— он силится отыскать такие царства, которых и не существовало. Достаточно для него уже того, в какой разряд попала песня: если она

случайно отнесена к царству Чжоу, то значит это верх нравственности; в другом месте песня того же рода показывает высшую испорченность нравов; точно так же, на этом основании, видят в песне или упоминание об их любимых героях нравственности или презираемых злодеях.

Возьмем для примера несколько*:

* Цзянь си цзянь си!

Жи чжи фан чжун

Шо жень юй юй

Ю ли джу ху

Цзо шоу чжи ё

Хэжу во чжё

Шань ю чжень, — Си ю лин

Пи мей жень си

Фан цзянь вань ву

Цзай цян шан чу

Гун тин вань ву

Чжи пэй жу цзу

Ю шоу бин чжё

Гун янь сы цзё

Юнь шуй чжи сы! Сифан мей жень

Си фан чжи жень си!

Унизительно, униженно

Заниматься всякими фиглярствами;

Только что солнце посредине,

Так и выступаешь на сцену;

Большой человек рослый, разрослый,

А в княжеском дворце всячески фиглярствует:

Сила как у тигра,

Поводья для него как шелковый шнур,

А он в левой руке держит флейту,

В правой фазанье крыло, —

Красен и цветущ;

Князь велит подать чарку вина;

На горах растут орехи,

На низу солодковый корень**.

О ком сказать, думает

Западной страны красивый человек.

Этот красивый человек —

Западной стороны человек!

** То есть всему есть свое место, а твое место тут ли?

Мы ставим эти стихи в первую голову, как доказательство того, что в Ши-цзин могли войти стихи, составленные гораздо позже открытия западного края, из которого в Китай занесены были, между прочим, и фокусы. Между тем толкователи видят здесь не ироническую насмешку над западным человеком или его жалобы на свою судьбу; нет, они под западным человеком разумеют первых императоров династии Чжоу, которая только впоследствии стала называться западною; при них, говорят, достойный человек не занимался бы какою ни попало службою.

Возьмем еще примеры:

Парочка села в лодку —

Едва видна их тень;

Думаешь о ней —

В сердце беспокоишься,

Парочка села в лодку —

Едва видно, куда уехала,

Думаешь о ней:

Как бы не вышло беды.

Кто бы подумал, что в этих стихах толкователи видят следующую историю: Вэйский князь Сюаньгун, женившись сам на Сюань-цзян, которую сначала сватал за своего сына, Цзи, когда выросли рожденные от неё дети Шоу и Шо, решил погубить Цзи; для этого он

послал его в другое царство и на дороге поставил убийц; Шоу, узнав о намерении своего отца, предупреждает Цзи, но тот говорит: "Воля государя, не могу уклоняться". Шоу, похитив значки Цзи, идет вперед, и его убивают; Цзи приезжает вслед за ним и говорит: "Государь велел убить меня", и его убивают!

На стене колючки —
Нельзя сместь,
Домашние речи
Нельзя рассказывать,
Если б рассказывать,
(выйдут) Слова скверные!

На стене колючки —
Снять нельзя,
Домашние речи
Толковать нельзя.
Если б толковать,
(выйдут) Слова длинные!

На стене колючки —
Нельзя унести,
Домашние слова
Нельзя читать,
Если б можно читать,
(выйдут) Слова бесчестные!

Мы скорее приняли бы, что тут выражается наша поговорка: из избы сору не выносить; но толкователи говорят, что это насмешка над сейчас упомянутой Сю-ань-цзян, которая, по смерти мужа, связалась со своим пасынком.

Сочетавшаяся до старости с благородным мужем,
С шестью драгоценными камнями в головной шпильке,
поддерживающей накладку,

Плавная и стройная,
Как гора, как река,
В красивом парадном платье,
Что ты не чиста — Как можно сказать!

Свежо, свежо (на тебе)
Это платье, на котором вышиты фазаны.

Черны твои волосы, как тучи,
К чему тебе шиньон!
(на тебе) Яшмовые наушники,

Гребенка из слоновой кости,
Прекрасны твои брови,
Право же ты — небо,
Право же ты — бог!

Блестяще, блестяще
Твое платье,
С окаймленною материей,
Подобранное буфами;
Ясны твои очи, прекрасны брови,
Красивы виски!

Такой человек, по правде,
Есть красавица во (всем) царстве.

Вместо того чтобы видеть здесь восторженные похвалы красоте, указывают на распутные нравы той же Сю-ань-цзян, которые погубили удел Вэй.

Итак, мы допускаем, что Конфуций собирал, сверх исторических сказаний, во время своих путешествий, и народные песни, как единственные тогда существовавшие памятники литературы; мы допускаем это потому, что думаем, что тогда литературных памятников было вовсе немного.

Едва ли даже на Ши-цзин не должно смотреть, как на образчик древнего языка различных наречий; мы видим в нём, что одно и то же содержание передается различными словами в различных царствах; на эту-то сторону до сих пор никто и не обратил внимания, и всё потому, что никак не могут допустить мысли, чтобы китайские комментаторы были неразвиты.

Письменность тогда существовала только как орудие правительства, для записывания исторических событий, ещё более для обозначения статистических данных; доходов и расходов, географических пределов,— так говорится, по крайней мере. Эти памятники не дошли до нас, и очень естественно: они, может быть, были недоступны и самому Конфуцию, как государственная тайна. Войны истребили их, вместе с княжескими дворцами и казенными местами, о которых не заботился победитель.

Тем более является высокою заслуга Конфуция: он первый сделал науку, образование достоянием народным, он первый познакомил народ как с правительственными документами, так и с самим собою. Если до Конфуция и были школы, то всё же только школы правительственные; нигде не видно, чтобы, помимо их, были народные учителя. Мало того, кроме конфуцианских школ, не существовало в Китае даже и впоследствии никаких школ; являлись писатели, не согласные с конфуцианством, враждебные ему, но мы говорили уже, что даже буддисты и даосы учатся по конфуцианским книгам.

Китайцам непонятно даже, чтобы могли существовать другого рода школы, в которых не преподавались бы их классические книги. Когда европеец говорит им, что в Европе также учатся, что там также получают учёные степени кандидатов, докторов, то они твердо уверены, что это звание даётся за изучение их классических книг. На этом-то и основан известный анекдот, что они считали покойного супруга королевы Виктории беглым кантонским студентом, так как им сказали, что она вышла замуж за молодого человека, взятого с университетской скамьи.

На этом же основании, когда они увидели, что европейцы их превосходят во всем, и им стали толковать, что европейцы обязаны этим науке, они не сомневались, что эта наука заключалась в их же классических книгах; подозревали даже, что в Европу зашли те главы из этих книг, которые потеряны китайцами.

Чему и как учил Конфуций — это еще загадка; может быть, самая история и поэзия были в его руках только как пособия для изучения письменного языка; этим учением он и ограничивался, не выводя даже и тех нравственных принципов, которые ему приписывают. Все последующее было делом его учеников. Но уж и то много, что явился человек, который

позаботился о народе, стал его учить. Народ в Китае смотрит с недоверием на своих чиновников; оттого он не изъявляет сочувствия к тому образованию, которое ему предлагается. Но вот теперь он завёлся собственным своим учителем, от которого пошли другие учителя, он готов их слушать. Понятно, что эти учителя должны говорить в его духе, соболезновать об его страданиях, осуждать поборы, наряды. Всё это нашлось в конфуцианстве. Мы видим в нём поддержку демократических начал и вместе с тем неограниченной власти государя. Не такие были государи древности, как эти ничтожные Чунь-цю; в древности, в Шу-цзин, вот как они заботились о народе! Такова главная мысль последней книги.

И народ поддержал это учение; конфуцианские ученые стали мало-помалу чувствовать свою силу, и эту силу внушало им убеждение, что они более образованны, более знают, чем правительственные чиновники; сначала они смиренно дожидаются, когда правительство призовет их к управлению; они продолжают вырабатывать идеи своего учителя, может быть, создают многое от себя, приписав это Конфуцию. Но когда терпение их истощилось, является Мэн-цзы и начинает громить правительство: "Что должна сделать жена с мужем, её покинувшим?" — спрашивает Мэн-цзы у владетельного князя. "Бросить его и взять другого", — отвечает последний. "Что должно сделать с чиновником, не исполняющим своих обязанностей?" — "Отставить". — "Ну а когда князь дурно правит?" Князь посмотрел направо и налево и завел речь о другом.

Конфуцианство могло легко разрастаться во время междоусобных войн. Когда Цинь-ши Хуанди соединил Китай под одну власть, общественное мнение, поддерживаемое конфуцианцами, оказалось уже так враждебно ко всем его распоряжениям, что он должен был вступить в борьбу с конфуцианцами, озлобленными тем, что не по их идеям соединили Китай, не спросив их правят. Это вовсе не было гонением на науку: как говорят китайцы, доклад об истреблении конфуцианских книг писал знаменитый Ли-сы, который был столько же великий государственный муж, как и учёный: он обработал ту китайскую письменность, которая существует и до сих пор и к которой написаны самые конфуцианские книги, выдаваемые за древние. До того в каждом царстве были свои варианты письменности.

Оставлены были и казённые учёные академики, не преследовались и книги астрономические, математические, по части сельского хозяйства, естественной истории, медицины и все полезные для народа в его быту. Сделана была даже уступка в духе конфуцианства: позволено было брать уроки у правителей для изучения гражданских законов. Вооружались лишь против педантов, которые осуждают новое на основании старого только для того, чтобы осуждать. Но конфуцианцы метко и ядовито обозначили такое распоряжение правительства: "оно хочет", сказали они, "оглупить черноголовый народ", то есть чтобы он не имел своего мнения, на всё глядел глазами правительства.

Понятно, что конфуцианцы уже были уверены, что общественное мнение на их стороне, что народ уже в их руках, смотрит их глазами, сочувствует только тому, чему они его учат. Метко же обозначило их и правительство, назвав педантами, знающими только старое, то есть ретроградами. Действительно, конфуцианство послужило причиной застоя Китая; педантизм, как мы видим, может иметь поддержку в самом демократизме, и наука может служить источником застоя, если она направлена не в ту сторону.

Дорого поплатился Цинь-ши Хуанди за это презрение к народу и его учению. Скоро пала его династия, и нет сомнения, что причиной этого падения была вражда конфуцианцев, которые и открыто присоединялись к бунтовщикам.

Умело взялся за дело хитрый дом Хань: он видел силу народного мнения и призвал конфуцианцев к управлению. Зато на множество мест в классических книгах, даже на всю их редакцию, тем более на толкования, можно смотреть так, что они прошли сквозь призму угождения правительству. Как скоро конфуцианцы взяли в свои руки бразды правления, стали у трона, они уже отделились от народа, хотя и кажутся его друзьями: власть изменяет характеры. Они остались верны только одному принципу — хулить всякое нововведение, ссылаясь на образец древних царств, и заботиться о своей власти. Этому новому положению можно приписать, что конфуцианцы дали совсем другую редакцию своим книгам: сочинили одни, отбросили другие. Если прежний Шу-цзин проповедовал республиканские идеи, то куда он теперь годился!

Как бы то ни было, несомненно одно, что в основу конфуцианства легла наука: мы видим, что две классические книги содержат в себе историю: история так близка народу, он так ее любит; недаром же Геродот решался читать её на Олимпийских играх. Затем Ши-цзин — книга песен — соединяется толкованиями с тою же историей, поддерживает ту же народность, песни ещё более любимы народом, чем история.

Говорят, что Конфуций занимался также И-цзином, книгою гадательного, прабабушкою нашего Мартына Задеки, написанною несвязным языком; указывают даже на главы, будто им написанные в приложениях к этой книге. Мы не признаем этой ранней связи И-цзина с конфуцианством; оно нигде не ссылается на него в древних книгах. То место Лунь-юй'я, которое приводится в подтверждение занятия Конфуция И-цзином, толкуется очень натянуто; даже, может быть, и в этом натянутом виде нарочно искажено, вставлено. Другое дело — последующие века: конфуцианство старалось расширить круг своих учений, ему было полезно присоединить такую книгу к своей школе; во-первых, она дошла от древности, а конфуцианцы — приверженцы старины; книга такого рода всегда имеет ход у народа, а конфуцианцы — друзья народа. А главное, такого рода книга даёт простор всевозможным толкованиям, то есть в неё можно вставить какую угодно науку — и военную, и астрономическую, и моральную, словом, всё, что ни показалось бы конфуцианцу нужным внести в свой круг; чего ещё не было внесено, он может внести это, как и было с И-цзином.

Говорят, что Конфуций не только был музыкант, но и написал будто даже, потерянную однако же, книгу о музыке. Судя по помещенным в Лунь-юй отзывам его о музыке, нельзя сказать, чтобы он был китайским Вагнером.

Конфуций преподавал капельмейстеру Лу следующий урок: "Музыке легко выучиться: при начале игры все инструменты должны быть настроены; в продолжение игры все должно идти плавно, внятно, без диссонанса; то же и в конце!"

Но то несомненно, что в древнее конфуцианское образование входила музыка: в классических книгах не раз упоминается о тонах. Так как нельзя верить на слово

конфуцианцам, которые, как и всякие последователи какой бы то ни было школы, приписывают всегда своему учителю то, что введено уже ими, то и мы не будем смотреть на Конфуция как на лицо, действительно введшее музыку в образование. Достаточно того, если ученики его, в противоположность ударам (тогда ещё не было грома) оружия, раздававшегося в те века, противопоставили гармонические звуки, возглашавшие о мире.

Очень натурально, что они старались расширить круг гражданского образования. Точно так же нельзя утвердительно сказать, чтобы Конфуций придавал то значение нравственности или церемониям, какое придали им его ученики. Мы видим, что и книга о церемониях, ему приписываемая, также не дошла до нас, потому, может быть, что и не существовала.

Представляя себе, однако же, Конфуция как первого народного учителя, не мудрено допустить, что он в своё преподавание ввёл музыку, как смягчающую народные нравы; музыка имела связь с книгой стихов, которые должна была сопровождать. И очень жаль, что музыкальное образование было заброшено конфуцианством, что оно считается ныне промыслом самых презренных людей. Что касается до церемоний, то при Конфуции они могли еще заключаться только в вежливых приемах: как подходить и отступать, то есть раскланиваться, как сообщать приятное и приличное выражение своему лицу.

Зато мы видим, что вся главная деятельность учеников Конфуция обращена исключительно на эти церемонии. О конфуцианстве, до вступления его на историческое поприще с полной уже властью, при Ханьской династии, за целые три столетия, если не более, мы имеем весьма мало сведений; но очевидно, что оно в это время не дремало и развивалось всё более. Упоминается о некоторых учениках Конфуция, достигавших значения в том или другом царстве, и даже казненных за проявление честолюбия. Не много знаем мы о Мэн-цзы, кроме приписываемого ему сочинения, хотя на это сочинение надобно смотреть как на продолжение Лунь-юй'я. Последняя книга представляет изречения Конфуция, а иногда и одних его учеников, разговоры Конфуция с ними, отзывы о характере Конфуция. Никто не сомневается, что это сочинение уже, конечно, не принадлежит Конфуцию и даже первому поколению его учеников, вернее — и второму, и третьему, потому что в нём о некоторых учениках Конфуция отзываются уже с тем же почётом, как и о самом Конфуции; следовательно, Лунь-юй могли составлять уже их ученики.

Но надобно ли непременно верить, что они записали действительные слова Конфуция; не скорее ли они внесли в эту книгу именно то, что их занимало? Точно так же, конечно, гораздо позднее, конфуцианцы, раздосадованные, как мы сказали выше, своим долгим ожиданием влияния и власти, могли создать философа Мэн-цзы, который будто, как и Конфуций, странствует по различным царствам и досказывает то, что ещё не договорено было в Лунь-юй'е, а было выработано впоследствии. История именно замечает, что странно, как Мэн-цзы, современник Чжуан-цзы, с ним не встретился. Затем историческое упоминание о конфуцианцах переходит прямо к столкновению их с Цинь-ши Хуанди; ещё говорится, что они встречают основателя Ханьской династии с музыкой и жертвенными приборами. Последние принадлежат церемониям; значит, если Цинь-ши Хуанди мог истребить Шу-цзин — историю, то почему он не отнял у конфуцианцев ни музыкального, ни церемониального образования? Мы думаем, что это доказывает только то, что такое образование в то время уже считалось конфуцианцами выше ученого, исторического.

Действительно, в продолжительный период негласного существования конфуцианства из всех трудов его ученых мы можем указать разве на одни только комментарии, сделанные на Чунь-цю по части истории. Вся же деятельность первых конфуцианцев выразилась в многочисленном ряде статей, относящихся к церемониям. Эти статьи собраны были в одну

книгу (Ли-цзи — собрание церемоний). Сюда же должно отнести и Сяо-цзин, книгу о почтительности к родителям, равно как и упоминаемые уже Цзя-юй, Лунь-юй и Мэн-цзы.

Пожалуй, это были своего рода комментарии на Ли-цзин, каноническую книгу церемоний, приписываемую Конфуцию, и о котором в ней, впрочем, не упоминается; но здесь уж основная мысль Конфуция могла значительно измениться. Если сохранилось Ли-цзи, то почему бы не сохраниться и Ли-цзину, если б он был действительно написан. Правда, что Конфуций не мог обойти такого важного вопроса, как церемонии, или, что то же, как мы сейчас увидим, нравственность. Для нравственных начал был им принят Шу-цзин; нравственную оценку даёт он и в Чунь-цю; в Лунь-юй'е ему влагают в уста следующий нравственный отзыв и о Ши-цзине: 300 стихов Ши-цзина заключаются в одном слове: "не помышляй дурно". Но большая разница — искать в истории законов и выводов для нравственности, или из придуманных, или, пожалуй, добытых из истории законов нравственности делать предписания для всей будущей жизни народа, останавливать всякое историческое развитие. Стоит только заглянуть в первые страницы Лунь-юй'я, чтобы видеть, что вскоре после Конфуция началась борьба, чему отдать предпочтение — нравственности или науке? "Учиться и с каждым днём совершенствоваться не так же ли приятно, как встретиться с другом, пришедшим из далеких стран?" "Молодой человек должен быть почтителен к родителям, солиден и честен, любить добро. Все же свободное от этого время он должен употреблять на свое обучение". Но затем Цзы-ся, ученик Конфуция, говорит положительно вслед за последним изречением: "Если кто истинно любит добро, служит родителям со всею тщательностью, государю со всею преданностью, обращается с друзьями с искренностью, хотя бы другие и называли того невежей, я назову его ученым!"

В месте, отводимом нравственности, заключается, кажется, главная ошибка и не одного только конфуцианства. Не только нравственность, втиснутая в определенные рамки, скоро превращается в ханжество, но и самая наука, попавшая под опеку такой нравственности, превращается в шарлатанство или в переливание из пустого в порожнее. Нравственность, выдвинутая вперед, унижает знание и, покровительствуя таким образом невежеству, становится безнравственной.

От конфуцианства нечего требовать, чтобы оно удержалось на той высоте, на которую вознеслось было однажды, признав науку за источник нравственности. Люди, и через две тысячи с половиною почти лет, не убедились еще в этом. Что, по-видимому, с первого взгляда может быть возвышеннее той идеи, которую прежде всех в мире выработали конфуцианцы, что только одна наука должна быть поставлена во главе правления, что она должна давать законы всему, что ее одной только должно слушаться? И действительно, что мы видим в Китае? Ни одна должность не дается там ни по протекции, ни по знатности происхождения, ни по богатству! От последнего чиновника и до министра там все вышли из корпорации учёных, выдержавших экзамены сперва на студента, потом на кандидата и, наконец, на доктора. Там всякий чиновник, хотя бы служил в Киргизских степях, готов хотя сейчас занять профессорскую кафедру. Там на соискание учёной степени являются не только знатные, семейные, но даже старики, достигшие 70 и свыше лет. Ясно, что и наука нелегка, нет пристрастия и в экзаменах, они неподкупны. Но дело-то в том, что надобно знать, в чём заключается эта наука. И оказывается, что десятки лет проходят все над изучением одних и тех же и все одних только цзинов — старинных книг, что на всех экзаменах нужно писать все только хрии, в одном и том же духе; нужно знать классический

язык в совершенстве: он будто бы развивает способности; кто, дескать, владеет языком до такой степени, что может, в сжатой хрии, правильно и пропорционально изложить все её части, не сказать ни более ни менее, как сколько нужно, тот, значит, владеет мыслью, значит, обработал свои способности. И вот, новый доктор является и историком, и финансистом, и уголовным судьей; он наблюдает и за сооружением зданий, и за земледелием, за водяными работами; мало того, он командует даже войсками.

Заметим кстати, что Пруссия одолжена развитием своего просвещения, давшего ей такую силу, той же системе государственных экзаменов. Но еще замечательнее, что китайское военное искусство, переведенное на французский язык, нашло себе почитателей именно в Пруссии со времен Фридриха Великого.

Мы называем нравственностью то, что обыкновенно передавали до сих пор словом церемонии, а китайские церемонии вошли в Европе в поговорку. Но китайское слово *Ли* имеет гораздо более обширное значение, чем нравственность: оно охватывает значение религии, весь образ жизни, весь строй государственный. Во всем этом нужен порядок, форма; здесь, конечно, уместнее слово церемонии.

Смеются над множеством китайских церемоний; покойный отец Иакинф, да и европейцы сделали скучными и смешными свои описания именно благодаря тому, что вместо краткого очерка, в чём состоят церемонии, выписали эти церемониалы целиком. Разве и у нас не издаются всякий раз подробные описания всякого рода процессий? Соберите все эти церемониалы вместе и заставьте их читать, они покажутся скучнее самой Телемахиды Тредиаковского. У китайцев такие церемониалы написаны для справок; они раз навсегда дали всему формы, и мы наперёд знаем, как будет совершаться обряд восшествия на престол богдыхана, его женитьба, его похороны; какая свита будет сопровождать и предшествовать ему в том или другом случае; как представляются ему чиновники, как принимает он отличившихся чиновников или гостей; какие у него бывают пиршества, как он раздаёт титулы, или — сколько жертвенных сосудов и с какими жертвами должны стоять в том или другом храме, при том или другом случае, какая должна быть форма самого храма.

Форма есть сокращение времени; вместо того чтобы всякому ломать голову и придумывать, как ему поступить и что сказать, в каждом из многочисленных случаев жизни, встречающихся с каждым, однажды принятые формы избавляют от напрасных хлопот и забот. Точно так у нас так называемое светское обращение доступно не многим и им щеголяют, как особенным даром; но, кроме Китая, трудно встретить другую нацию в свете, в которой всякий умел бы держать себя прилично, нашёлся бы во всяком положении, тогда как это не затруднит самого простого китайского крестьянина. Это уже не одно сокращение времени, не одно облегчение от случайных хлопот, это — избавление от столкновений, ссор, брани, преступлений.

Известно, что южные жители чрезвычайно вспыльчивы, неудержимы в порывах страсти; но благодаря церемониалам надобно много усилий, чтобы вывести китайца из терпения, и чему он этим обязан, как не своим церемониям, однажды принятым формам, которые, существуя тысячелетия, усваиваются каждым почти с рождения? Эти формы сделались национальным достоянием, типом народа. Тут нехорошо одно, что эти формы стары, что они выработались в старое время человечества, но имеют претензию на современность и, таким образом, самими формами поддерживается застой и противодействие новейшим

идеям; с другой стороны, при встрече с другими типичностями в Китае проявляется народный антагонизм, от которого прежде много страдали и китайцы, и другие народы, и еще постраждут. Формы, облегчая жизнь, лишают ее вместе с тем и живости; устраняя столкновения, они нагоняют скуку; имея в виду свободу и большой простор для тех явлений, которые не укладываются в формы, дают жизнь апатией.

Но формы не заканчивают китайских *Ли*; последние должны обнимать и внутреннее их содержание. Вот почему эту сторону мы и называем нравственностью. Надобно сказать правду, что подобно тому, как никто так не воспитан, как китайцы по наружности, в церемониях, точно так же едва ли в каком-нибудь народе развиты до такой степени и общие нравственные понятия, то есть если кто и не нравствен, то, по крайней мере, знает, в чем заключается нравственность. В самой Европе не у каждого ли человека, например, свое определение понятий о чести, честности, благопристойности и прочих качествах? Протестанты учат даже, что вера и без добрых дел может сделать человека святым.

Как бы то ни было, вот что говорят китайцы о значении слова *Ли*.

"Церемонии составляют связь неба с землей; они утверждают порядок между людьми; они прирождены человеку, а не суть только искусственная внешность или прикраса в выражении сердечных влечений. Они основаны на различии в высшем и низшем достоинстве вещей, на разнообразии природы. Вследствие этого введены формы для одежды, правила для совершения обрядов — совершеннолетия, браков, похорон, жертв, представления ко двору, угощений, почтения к старости; определены отношения между государем и чиновниками, отцом и сыном, старшими и младшими братьями, мужем и женою, другом и товарищем. Даже средства к образованию себя, устройению дома, управлению государством, устройству вселенной не могут обойтись без церемоний".

Но мы не можем следить с подробностью за всеми сейчас перечисленными предметами церемоний. Мы только представим здесь характеристику конфуцианцев (описанную ещё в Ли-цзи) и затем скажем несколько слов о главнейших, выдающихся и нас поражающих пунктах конфуцианства.

"Учёный учится многому, а платье его сообразно с местностью. Он, сидя на рогожке, усваивает высшие правила, в ожидании, что его пригласят (на службу); учится день и ночь, в ожидании, что его спросят,— укрепляется в преданности престолу, ожидая, что его повысят (на должность); напрягает усилия, чтобы быть способным к исполнению поручений. Так он готовится себя... При полной вежливости, он как будто небрежен; в маловажных случаях как будто стыдится; смотрит слабым, как будто не способен... прежде чем заговорить, уже внушает доверенность... заботится не о богатствах, а об изяществе... пред выгодой не повредит истины... видя смерть, не изменит своему долгу... его можно умертвить, но не пристыдить... Учёный живет с нынешними людьми, а исследует древних; действует в настоящем, а думает о будущем".

Конфуцианцы сами определили, что всё их учение состоит главным образом в объяснении пяти неизбежных или требуемых для каждого достоинств и в утверждении трёх отношений. Первые суть: любовь (человеколюбие), истина, нравственность или церемонии, ум (мудрость, знание) и честность. Ими должен украшать себя всякий, а от украшения себя

зависит устройство дома; когда будет устроен дом, тогда будет устроено и государство, а от этого зависит и вся вселенная.

Об этих качествах мы не можем здесь распространяться, так как они могут быть понятны всякому, хотя китайцы часто выражаются, при определении их, странными и неожиданными для нас, по своеобразию, фразами*.

* В искусных речах и приятной физиономии мало любви. Чжун Гун спросил: что такое любовь? Конфуций отвечал: "Вне будь таков, каков бываешь, когда встречаешь знатного гостя; обращай с народом с чувством благоговения, которое проникает в тебя во время великого жертвоприношения. *Чего себе не желаешь, не делай другим.* Чтобы ни в государстве, ни дома никто на тебя не роптал!.. Любовь есть сдержанность в словах; при трудности в исполнении, разве можно обойтись без сдержанности в словах?"

Твердый, крепкий, прямой и простой близок к любви.

Знание, хотя бы и было приобретено, но пропадает, если его не охраняет любовь, то же если и охраняет, но без солидности, не возбудит уважения; но знание, любовь и уважение не будут хороши без церемоний.

Те, которые первые занимались церемониями и музыкою, были дикарями; последующие стали называться образованными мужами; я предпочитаю первых.

Цзы-ху спросил о том, как служить духам? Конфуций отвечал: "Не умеешь еще служить людям, как же служить духам?" — Осмелюсь спросить о смерти? — Конфуций сказал: "Еще не знаешь как жить, как же знать смерть?"

Приносить жертвы не своим демонам — это лезть; видеть истину и не исполнять — это трусость.

Не горюй о том, что люди тебя не знают; горюй о том, что не знаешь людей; знание есть знание людей.

Если государь знает церемонии, то народом легко управлять. Трудно, чтобы, проведя весь день в толпе, не завел речи об истине.

Благородный муж кладет в основу истину, действует по церемониям, честно обработывает.

Природа (или характер у всех) одинакова: привычки разъединяют. Самый умный и самый глупый не изменяются.

Разве небо не говорит? Четыре времени сменяют друг друга, все твари растут (по его повелениям).

Кто исполняет траур, тому пища не сладка, музыка не весела, жизнь не спокойна... Сын только через три года сходит с рук родителей, а потому трехгодичный траур есть общий (обязательный) для всех.

Цзы Гун хотел уничтожить заклятие барана в жертвоприношениях; Конфуций сказал: "Ты жалеешь этого барана, а я люблю эту церемонию".

Конфуций сказал: "Как мелочен был Гуань Чжун!" Некто возразил: "Разве он не был бережлив?" Конфуций отвечал: "Но он построил для себя башню; его чиновники не соединили в одно различные должности — как же можно назвать его бережливым?" — "Ну, так неужели он не знал хоть церемоний?" — "Его князь построил у себя щит у ворот, и он построил щит у себя; его князь для гостей завел буфет, и он завел буфет. Уж если Гуань Чжун знал церемонии, так кто после этого их не знает".

Человек не плоска (в которой все налитое принимает форму плоски). Когда Конфуций пришел в храм предков, в столице династии Чжоу, то расспрашивал о всяких мелочах. Другие

заметили: как же это говорили про него, что он знает все церемонии? Вот он обо всем расспрашивает. Конфуций, услышавши это, сказал: "Вот в этом-то и состоят церемонии!"

Идеал конфуцианца есть образование из себя благородного мужа (*Цзюнь-цзы*); только по вмещению в себе вполне таких качеств он и может быть так назван.

Но для всех, конечно, гораздо интереснее те принципы, которые китайцы установили в столкновении человека с другим, себе подобным. Здесь они видят только три главных отношения: отца к сыну, мужа к жене и государя к чиновникам. В этих отношениях выражается именно вся характеристика не только конфуцианства, но и вообще всего Китая. На всем остальном свете, при всех разнообразных как философских, так и законодательных планах, никогда эти принципы не получали такого господства, не выражались во всей исторической жизни народа. Этим принципам, конечно, Китай обязан отчасти и сохранением своей самобытности и самостоятельности; ими, конечно, он и гордится, из-за них он и презирает другие народы, отталкивает до возможной степени заимствование. Эти принципы кажутся ему несомненными, да и не прав ли он — по крайней мере, не прав ли он был, полагая их в основание своей жизни за две с лишком тысячи лет пред этим, не оправдывает ли его отчасти и история? Но та же самая история произносит и суд над этими принципами: она осуждает не их, а их применение, она жалуется на те оковы, которые наложены этими принципами на самую историю, на науку. То, что хорошо было, может быть, за две тысячи веков, могло регулироваться опытностью, потребностями времени, развитием мышления, наукою. Но конфуцианство, утвердив однажды начала, не позволяет даже делать изменения и в их применении.

Мы уже говорили о положении Китая во время появления конфуцианства: война и военщина только и занимали тогда все умы; дипломатия отличалась безнравственностью, дети бунтовали против своих отцов; даже княжеские жены вступали в связь с другими князьями. Честолюбие не знало пределов; так, при падении Циньской династии, всякий простолюдин хотел сделаться императором, простой сельский староста сделался основателем Ханьской династии. Но понятно, что, как свидетельствует и история, его сподвижники и помощники не чувствовали к нему того уважения, которое является в обращении с государем наследственным, не выскочкой. История говорит, что на оргиях генералы и полководцы забывали всякие приличия. Нужно было ввести дисциплину, а она уже была готова у конфуцианцев: вот почему правительство и прибегло к этой школе, передало ей власть. Правительство не слишком увлекалось сначала всем конфуцианством; оно покровительствовало и даосизму, и магизму, даже было более к ним склонно. Но дисциплину, церемонии могло дать только конфуцианство; нуждались не в его знаниях истории и народности (Сыма-цян был даосист), а именно в церемониях. Нет сомнения, что и конфуциане переделали много из своих книг, сочинили много других, в угоду правительству; словом, на древнее конфуцианство мы теперь должны смотреть глазами ханьских ученых и толкователей.

Отношения отца к сыну — вот что легло в основание этой дисциплины; права отца так естественны, что в них никто не сомневается; кто мог заподозрить эти права в злоупотреблениях? Отец и учитель должны быть как можно более строги, потому что только это может приготовить юношу к самостоятельной жизни. Но не подрывается ли уже чересчур эта самостоятельность, когда отец и после совершеннолетия сына есть полный

хозяин всего, что он наживает, когда он может три раза продать его самого? Что может быть справедливее того, чтобы сын являлся к отцу утром наведаться о здоровье, а ночью провожать его в постель; не только доставлял ему пропитание, но и в душе от этого не морщился, с благоговением радовался бы глубокой старости и с сокрушением опасался, как бы скоро с ним не расстаться; но к чему тут нужно, чтоб он не смел сесть при отце, не смел заговорить, если не спросят?

Не странно ли слышать, что покойный богдыхан Цзяцин, провозглашенный императором своим отцом Цянь-луном, который *номинально* только отказался от престола, а на деле продолжал царствовать, стоял на коленях при торжественных аудиенциях, тогда как любимец, министр Хэшэнь, пользовался правом сидеть?

Не трогательна ли эта сыновняя почтительность, которая и по смерти отца представляет его себе живым к тому является к его памятнику, выражаемому дощечкой, с докладом о всяком семейном деле, приносит, как будто он все еще жив, вновь появляющиеся фрукты, самые лучшие кушанья?

Но не противочеловечен ли этот траур, продолжающийся три года, на том основании, что сын первые три года жизни не мог бы жить без помощи отца? Во время траура не только нельзя жениться, но и родить детей, смотреть на какие-нибудь удовольствия, даже бриться, тем менее играть на музыкальных инструментах. Музыка рекомендовалась самим Конфуцием, а как не забыть её в три года? Траур — это временное монашество. Но главное условие траура: чиновник, какое бы место он ни занимал, даже во время войны, должен, как скоро он получит известие о кончине кого-нибудь из своих родителей, сейчас же, не испрашивая даже разрешения, бросить должность и спешить ко гробу покойного. Конфуцианство, ратующее против расточительности, ставит в обязанность похоронную роскошь; сын, и не получив никакого наследства, обязан заплатить долги своего отца и деда.

Только будто бы одна идея почтительности обязывает человека беречь свое тело, так как оно получено от родителей; поэтому сын не только не имеет права на самоубийство, но не смеет даже подвергать себя никакой опасности. За отцеубийство не только режут виновника в куски, но наказание распространяется на самую местность: у города разламывают часть стены.

С идеей сыновней почтительности тесно связано учение о почтении к старшим, а вместе с тем устанавливается и мерка для всего общества; в нем только и существуют что старшие да младшие; равные друг перед другом называют себя младшими братьями. Конфуцианство золотит за то правительство: "Редко, чтобы кто из почтительных к родителям и старшим восставал на высших, и не может быть, чтобы кто не восстает на высших, произвел возмущение!" Вот что говорит Лунь-ю'й.

Требовать от китайцев, чтобы у них мужчины признали равноправность женщины в такое отдаленное время, когда ни один народ, исключая христианских, не возвышался до этого, — очевидно нечего. Женщина прежде всего — мать, и она отказалась в пользу своих детей от своих прав. Китайский язык сохранил в себе свидетельство, что в древности дети назывались по именам или фамилиям своих матерей; следовательно, уже в историческое отчасти время ещё не было браков; — название *сына*, то есть рожденного от брака, и до сих пор есть почетное титуло; оно после стало даваться и философам (Кун цзы, Мэн цзы).

Как скоро люди стали выходить из дикого состояния, матерям невозможно было одним нести тяжесть воспитания детей; мужчина согласился принять их, наложив на их мать тяжелые условия: женщина должна быть верна; она может даже умертвить себя, когда

умрёт муж, отрезать часть своего тела, когда он или его родители опасно заболеют, что и поныне официально считается лучшим лекарством; муж обязан жене только справедливостию; он может иметь сколько угодно жён или наложниц; он не обязан соблюдать целомудрия; довольно и того, если он предоставляет главной своей жене права главной хозяйки, права главной матери.

Главная жена обыкновенно выбирается родителями,— вот почему она ещё несколько и уважается, и опять-таки мы видим, что и здесь отношения супругов основаны на принципе старшинства. По настоящее время в Китае, в продолжение последних десяти с лишком лет, две императрицы-матери управляли за малолетнего богдыхана, но не родная мать, а бывшая главная императрица считалась из них старшею. И древний Ши-цзин, равно как и новейшие лучшие китайские романы, только и добиваются того, чтобы мужчина не отдавал в доме предпочтения любимым женщинам, если они младшие, не слушал наущничества, не гнал из-за их детей детей других.

Жена не имеет права сидеть с мужем за одним столом; мужчина не принимает и не передает ничего из рук в руки женщины. Мужчина и женщина не ходят друг к другу в гости. Книга церемоний Ли-цзи требует даже, чтобы на улице мужчины шли по правую, а женщины по левую сторону. (Только непонятно, как же они могли исполнять это предписание, когда шли с противоположной стороны?)

А между тем при всех усилиях конфуцианства восточная нравственность не может похвалиться, чтобы она стояла высоко. Правда и то, что восточный, то есть южный, житель — зверь в своих страстях, и при многочисленности жителей в Китае вследствие церемоний семейная жизнь все-таки процветает лучше, чем в других странах. Едва ли где, кроме христианских народов, женщина пользуется таким уважением, как в Китае; при виде её представляешь себе древних римских матрон. Там женщина не прикрывает лица, разъезжает и ходит по улицам; исключая богдыханский гарем, делает визиты к другим дамам, имеет возможность насладиться театральными представлениями. В Китае женщины нередко управляли делами и даже вступали на престол; они ещё в древности занимались поэзией и даже участвовали в составлении официальных историй; музыка, поэзия, живопись, вышивание — вот их препровождение времени; женщины устраивают даже свои попойки.

Женщина-мать имеет все права на сыновнюю почтительность, такие же, как и отец. Сын, достигший высших гражданских степеней, имеет право доставить матери почетный титул, диплом.

Жена, овдовевшая в молодых годах и оставшаяся в доме свекра, имеет право, через известное число лет, получить также почетный титул. В хороших семействах принято даже, чтобы сосватанная невеста, в случае смерти жениха, переходила, как действительная вдова, в дом её свекра. Но все это при многоженстве не свидетельствует ли, что женщина — жертва более благородная и более жалкая, чем западная женщина? Только одно христианство восстановило права женщины...

Но и почтительность сыновняя, и уважение к старшим, и устройство дома, заключающееся в держании в должных границах всех членов семейства, всё клонится в конфуцианстве к одной общей цели, к поддержанию государства на службе восточному государю. Преданность и верность престолу — вот к чему сводится все это устройство. Китайский государь немного жертвует своими привилегиями, когда он называет народ своими красными детьми, то есть красными, какими бывают новорожденные. Мы видим, что

права сына немного разнятся от прав раба; раб даже более имеет преимуществ. Бить сына можно, но излишняя строгость господина, тем более жестокое обращение считаются предосудительными и неприличными; слуга, падающий на колени пред господином, в то же время пользуется большею свободою говорить.

Первое требование от чиновника — это верность престолу; он может быть взяточником, грабителем, притеснителем народа,— все можно ему простить, но не измену; раб наказывается за донос на своего господина, чиновник должен жертвовать жизнью для своего государя. Известна китайская трусость, но в возможности доказать свою верность китайцы являются такими же героями, как и японцы, разрезающие свой живот. Китайцы не знают этого искусства, но они давятся, бросаются в колодцы, закалывают сперва своих жен и детей и потом, зажегши весь дом, предают себя смерти. Лучшею смертью считается, однако, та, когда чиновнику доставят случай обругать врага своего государя, наплевать на него, призвать все проклятия, чтобы вывести неприятеля из терпения и заставить его растерзать себя. Последнее возмущение доставило такую массу преданных слуг, что давно уже из одного списка их имен составились целые тома; комитеты, нарочно составленные с целью разузнать о всех пожертвовавших жизнью из преданности престолу, до сих пор продолжают действовать. Достаточно сказать, что раз в одном департаменте, после одного только набега инсургентов, в несколько месяцев погибло, по одним официальным известиям, более 10 тысяч душ; но ведь это были ещё только лица известные, лица, за которых было кому замолвить слово пред комитетом, а сколько было таких, которые погибли бесследно! Между тем инсurreкция продолжается и теперь — более уже двадцати лет; она прошла по всем без исключения провинциям Китая, не миновала даже Монголии и Маньчжурии.

К чести конфуцианства, надобно, однако, сказать, что оно обуздало по возможности, особливо для старых понятий, восточный деспотизм. Церемонии простерли свою власть и на самого государя, и если чем они выкупают свою неоднократную бесплодность, так именно тем, что сделали почти невозможным произвол. Богдыхан стеснён в своём дворце более, нежели последний из его подданных: за ним подмечается каждое его слово, каждое действие; он ест, спит и встает по расписанию; ему не подадут на стол даже свежих фруктов, прежде чем их не перепробует последний из подданных. Надобно было, для облегчения такого положения, придумать, что уставы недействительны, когда богдыхан не живет во дворце; вот почему и построен был Юань-мин-юань, разрушенный англичанами и французами. Думали ли эти поборники и представители европейской цивилизации, что они гонят её из Китая и поддерживают конфуцианский консерватизм?

У нас всегда много говорят с ужасом об азиатском деспотизме; в маленьких государствах, как в Хиве, Бухаре и других, действительно ханы могут выказывать свой личный произвол. Но как могут злость и дурные наклонности проявиться в обладателе огромного государства? Притом нет, конечно, ни одного государя на свете, который желал бы зла своему народу и умышленно вел его к гибели. Все зло происходит от окружающих его любимцев, но в Китае приняты и против этого меры: откуда явиться любимцам у богдыхана, когда он только и видит что чиновников, да и говорит с ними почти исключительно по официальным делам? Даже гаремные интриги могут подставить ему

только кого-нибудь из этих служащих; но и тем надобно уже быть в больших чинах, чтобы иметь к нему доступ.

Мы говорили уже, что всякий чиновник есть, вместе с тем, и учёный; следовательно, зло происходит даже не от любимцев, а от того, в чем заключается эта наука: образует ли она действительно государственных людей, способны ли они действительно придумать меры, вызываемые обстоятельствами, могут ли они освободиться от рутины, которая сжимает Китай уже две тысячи лет? Любимцы не помогают ли иногда Китаю отдохнуть от тех тисков педантизма, которые он наложил на себя добровольно?

В Китае все дела ведутся по заведённому порядку; в его продолжительной жизни на всё найдутся примеры,— конфуцианский консерватизм за них и хватается, не хочет знать ничего нового. Притом всякое чуть важное дело обсуждается в совете: в нём могут быть разногласия; богдыхан может примкнуть к той или другой стороне, положим, и хуже другой рассуждающей; но она все-таки имеет свои основания в какой-нибудь стороне конфуцианства, и решения богдыхана всегда имеют характер видимой истины: верно-де, и в мнениях другой стороны были какие-нибудь неудобства.

Главная беда в том, что нет ума, нет знания, нет науки. А кто виноват, как не этот же учёный? Прежде дело сходило с рук: в свое время Китай стоял выше всех окружавших его народов; но пришли рыжие варвары с новыми знаниями, навязывают новые порядки, а конфуцианство приняло уже форму святыни, стало религией, ложные требования которой, если бы сознавал их даже сам богдыхан, не решится и он нарушить. Однако же, несмотря на то что церемонии отняли в Китае всякую свободу даже и у государя, в конфуцианстве все-таки много живительных идей: это самое уважение к науке не может ли дать ему право на преобразования?

В Китае, изобретшем книгопечатание, нет публицистики, нет периодических изданий, служащих орудием гласности; но в нём есть зародыш гласности, насколько она была возможна в древнее время. Гласности конфуцианцы не боятся, напротив, они громко требуют её. Шунь был великий государь, твердят они всякому богдыхану, потому что он умел слушать; и ты должен смирить себя, выслушивать всякие наши представления.

Конечно, конфуцианцы были прежде твёрдо уверены, что никто, кроме их, не может войти с представлением, составить какой-нибудь дельный проект. И проекты посылаются к императору со всех сторон, но о чём они толкуют? После первой войны с Англией, знаменитый кантонский генерал-губернатор Ци-ин, сражавшийся с европейцами, заключавший с ними мирный трактат, посланный потом в Кантон для того, чтобы поддерживать с ними дружбу, и видевший европейские корабли и европейское общество, делает после всего этого представление о том, что надобно усилить обучение в стрельбе из лука и ставить на несколько шагов далее цель. Ныне мы то и дело видим требования, чтобы экзамены из классических книг были как можно строже, чтобы правители указывали на неспособных или корыстолюбивых чиновников, рекомендовали отличных. Чем сильнее наляжет Европа, тем отчаяннее будет сопротивление Китая, под влиянием конфуцианства.

На цензорах лежит даже прямая обязанность доносить богдыхану о всём, что они услышат, хотя бы, как выражаются, с ветру. Недавно ещё читался доклад цензора о том, что он слышал, как сычуаньский генерал-губернатор, проездом на должность, брал на провоз своего багажа свыше законного количества подвод и людей; другой цензор, в то же время, доносил, что он слышал, будто какой-то префект поднёс взятку тому же губернатору.

Богдыхан обязан нарядить следствие по таким доносам, и часто чиновники первой степени отправляются из столицы в провинцию. Правда, донос оказался ложным, но цензор несколько за него не отвечает. От этих цензоров не ускользает сам император: малейшее его отступление от правил может возбудить протест, и этот протест даже печатается. Услыхал министр, что покойный Дао-гуан, царствовавший с 1820 по 1850 год, однажды палкою побил свою фрейлину по подозрению её в связи со старшим сыном; та с досады и бросилась в дворцовый пруд. Сейчас явился доклад о том, что его богдыханскому величеству должно быть-де совестно на старости лет заниматься женщинами.

Когда началась первая война с Англией и китайские воители были один за другим разбиваемы, богдыхан сгоряча велел отрубить головы первым генералам, проигравшим сражение, но угроза не подействовала; следующего генерала также разбили, — он был уже только разжалован; на беду случилось, что это был маньчжур и богдыханского рода, а прежде погибшие — китайцы. Цензор сейчас с докладом: что это за пристрастие? Потому ли, что это свой, так и помилован? И император распорядился, чтобы его родственник не выходил из дому до самой смерти.

Что должно удивлять нас в этом деспотическом будто бы правлении, так это его откровенность в ошибках. В Европе принято за правило заминать всякий скандал, случившийся с знатным лицом. В Китае нередко отдаются под суд, сажаются даже в тюрьму князья и высшие министры, как скоро открываются их проступки. Даже если решение совета министров было утверждено богдыханом, но оказалось вредным по последствиям, то постановившие его не избавляются от преследования и наказания. Никто не может прикрываться высочайшею властью — вот девиз китайского правительства.

Вообще китайское правительство не признает за собою только силу, оно самые указы богдыхана называет не приказаниями, а наставлениями, подданные не рабы, а недоросли, которых ещё надобно учить. Отношения отца к сыну, мужа к жене, несмотря на жестокость, заключающуюся в предписаниях древних учреждений, все-таки отчасти смягчаются общечеловеческим чувством, которое не чуждо и китайцу. Только отношения государя к подданным сохраняются с глубокой древности во всей силе; собственно говоря, этих отношений не существует, китайский богдыхан живёт замкнуто от всего народа; он никогда даже не видит этого народа, потому что и не появляется среди его, — во время его проезда народ изгоняется с улиц. Он знает о существовании своих подданных только по докладам своих чиновников. Потому неудивительны анекдоты, рассказываемые об одном богдыхане. Когда он услышал кваканье лягушки, то спросил: "Кто это поет, чиновник или народ?" На это ему доложили, что народ умирает с голоду, он наивно спрашивает: "Отчего же он не ест?"

Что же из всего этого следует? — А то именно, что идеи Конфуция вообще недурны, содержат много верного, пожалуй, человеческого; но спрашивается, что налито в эти, ещё не износившиеся мехи?